

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ ЛИК

Читаю в “Дневнике актрисы” Татьяны Дорониной запись от 22 декабря 1984 года:

“Вчера я прочитала в “Литературке” статью критика Игоря Дедкова “Портрет с автографом”. Живет в Костроме – вне веяний, тенденций и “продаж”. Принцип – высокая личная нравственность и ответственность за сказанное и написанное. Уверен, что “традиция русской критической мысли” – глубокое знание философии, истории и прочих наук, человеческая порядочность и личная ответственность за время, за себя, за то, что делается вокруг. Считает, что обязанность профессии “критик”, суть профессии – это продолжение “работы” произведения того или иного автора, внедрение, разъяснение, углубление его идей. Дедков не видит в этом “вторичности”, унижения для своей профессии, он видит в этом смысл и предназначение критики. Надо находиться вдали от суеты и пристрастий, чтобы честно, доказательно объяснить, почему столь прекрасна личная боль Распутина за свою землю, за людей. Почему нужна проза Василия Белова и подобных ему и почему вредно все, что “помимо”, что “размашисто” и претенциозно... и никому не нужно... Было же время “нелицеприятной” критики в литературе. Лицо Дедкова похоже на лицо молодого Белинского...”

Именно такая репутация много лет была у Игоря Дедкова – “вне веяний, тенденций и “продаж”... В той же тональности, по тому же “эскизу” пишет свой портрет Дедкова и Наталия Куликова, и, судя по подбору материала, она имеет для этого определенные основания. Возникает, правда, существенный вопрос: насколько все же сам критик по своему существу соответствовал данной, весьма распространенной, репутации? Насколько он “встраивался” в колею “объективности” и “непродажности”?

“В своих заметках я не ставила целью вдаваться в суть идейных разногласий Игоря Дедкова с разными литературными партиями и направлениями, наверное, в чем-то он заблуждался, отнюдь не всегда был прав. Иметь свою собственную позицию в годы “разброда и шатаний” очень нелегко. На чьей стороне правда, покажет время”, – пишет Наталия Куликова, тем самым явно облегчая себе задачу. По-своему “в суть идейных разногласий” критика “вторгся” Юрий Павлов в процессе работы над статьей “Игорь Дедков как русско-советско-либеральный феномен”, статьей, насыщенной интересным материалом, нетривиально и остро проинтерпретированным (хотя к павловским трактовкам некоторых фактов у меня есть определенные претензии). Повторяться нет смысла, и сейчас эти заметки я пишу с единственной целью: дополнить портрет критика некоторыми, на мой взгляд, чрезвычайно существенными штрихами, иначе он останется в сознании нашего читателя явно неполным.

И начать стоит с давней “новомировской” статьи Дедкова, с его “полемических заметок” “Страницы деревенской жизни”.

Честно говоря, я не поверил своим глазам, когда в 1990-м в “Литературной газете” прочитал в интервью Дедкова, которое он дал Брониславе Тарошиной, следующее:

— В старой новомировской статье “Страницы деревенской жизни” вы защищаете “деревенщиков” от их “певцов” из “Молодой гвардии”.

— Защищать приходилось Федора Абрамова. Остальные “деревенщики” в защите не нуждались, их судьбы складывались благополучно. Я писал об их книгах с уважением и любовью. Лучше бы эти писатели занимались своим делом: глядишь, талант и вывел бы некоторых из них из политического леса”.

О “политическом лесе” чуть ниже. Что же касается Федора Абрамова...

В упоминаемой статье ни о нем, ни о какой бы то ни было его “защите” не было ни слова. Предисловие к трехтомнику Абрамова Дедков писал в 1980 году, когда сам Абрамов, поистине, ни в какой “защите” не нуждался. А в “Страницах деревенской жизни” речь шла о Викторе Лихоносове, о Георгии Семенове, о совершенно забытом ныне Иване Петрове и о Василии Белове, а конкретно, о его повести “Привычное дело”.

Похоже, в 1990 году ни о Лихоносове, ни о Белове, ни о других героях той давней статьи критик даже не хотел вспоминать.

“... Не хочу писать про критику, которая сказала все неправильно, фальшиво, равнодушно, по-барски. Иван Африканович — тип горестный...” — так писал Дедков в дневнике в 1967-м. Тем не менее, начал он статью именно с инвектив, направленных против “молодогвардейской” критики. Высмеял “монополию на патриотизм”, прошелся по “национальной гордости вкуче с высоकोмерием”, которые якобы “загарцевали вдруг на владимирских тяжеловозах”... Язвляющая ирония была явно не по адресу, но Дедкову было важно донести основополагающую мысль: если писатель воплощает ту правду, “что связывает нас со всем добрым, честным, подлинным, рождает наш благодарный душевный отклик, когда мы встречаемся с человечески достойным, нравственно чистым”, то при встрече с подобным писателем — будь то Лихоносов или Белов — “нужно... знать и помнить: не так уж трудно зарожить себя этим чувством настолько, что оно станет своего рода религией, единственным, все иное исключающим способом восприятия и отношения к деревенской жизни. А всякая религия иллюзорна, и иллюзорность ее именно в том, что питающие ее представления о действительности не выдерживают проверки жизнью”.

То есть “благодарный душевный отклик” следовало тут же придушить в себе напоминанием о том, что можешь впасть в “религиозное чувство” — и тут впору доставать из кармана “Блокнот атеиста”, откуда, судя по всему, и была позаимствована заключительная фраза. Подобного рода штампы были в большом ходу у тогдашней “новомировской” критики. И уже от совершенно бесспорного заключения — “вопрос не в том — “чернить” или “воспевать”. Куда насущнее и труднее войти “внутрь”, увидеть жизнь из глубины ее собственного течения” — легче легкого было перейти к “лирическому фрагменту душевной жизни героя”, в котором “есть все-таки и определенный привкус сентиментальности, некоторой идилличности в восприятии действительности”. Запомним этот “привкус сентиментальности” — он потом, через годы, повторится у Дедкова в совершенно неожиданном контексте. “... Еще шаг, еще “чуть-чуть” — и с ними неожиданно начинают переключаться вдруг строки типа: “Взглянул на кустик — истину постиг” (Н. Рубцов)”. Поэт, кровь и сутью связанный с русской деревней, ни единой строчки которого, кстати, не появилось на страницах “Нового мира”, предстал в дедковской статье, как не видящий жизни “из глубины ее собственного течения”, но как апологет “подземного, почти религиозного течения”, что блуждает “в иных душах”... “Идеализация человека деревни в литературе и критике, оправдание иных отрицательных сторон его характера, общественного поведения и позиции обстоятельствами жизни обрекают нас на повторение незабвенного прекрасо-душия наших не столь отдаленных предшественников, для которых Чехов и Бунин были жестокими и мрачными изобразителями мужика. Но мы знаем, что Чехов и Бунин были в том споре правы... и иной русский человек, особенно в деревне, складывался, впитывая гражданскую пассивность и послушание, как основные гарантии житейского благополучия, выживания вообще”... Мне и поныне нелегко понять, как мог начитанный и неплохо знающий

историю критик даже не вспомнить о крестьянских бунтах, о яростном сопротивлении русской деревни столыпинским реформам именно в пору, когда писались “Мужики” и “Деревня”. Объяснение одно: Дедков пошел на поводу у “социал-демократической” конъюнктуры, столь близкой его новомировскому окружению, а истоки подобного взгляда на русского мужика – в критике 1920-х годов, гвоздившей за “идеализацию” и “религиозное течение” Есенина, Клычкова, Клюева...

Назови кто-нибудь в 1969-м критику эти имена – он бы в лучшем случае пожал плечами. Он, конечно, не мог тогда знать строк из письма Николая Клюева к Александру Блоку: “У меня на столе старая, синяя, глиняная кружка с веткой можжевельника в ней. В кружку налита горячая вода, чтобы ветка, распарясь, сильнее пахла. Скажите это кому-либо из Собачьей публики, Вам скажут, что по Бунину деревне этого не полагается (мне часто говорили подобное). И не знает эта публика, что у деревни личин больше, чем у любого Бунина...” Письмо это было напечатано почти через 20 лет после публикации “Страниц деревенской жизни”, но так и кажется, что Клюев “из своего далека” упреждает со своим “незабвенным прекраснородушием” все подобные инвективы, и дедковские, в частности.

Главная часть статьи – заключительная, посвященная беловскому герою Ивану Африкановичу, который, по мнению критика, “не одна только отрада русской деревни, тем более не гордость ее”. Это было заявлено в полемике с критиками, которые якобы “вышили пурпурным шелком портрет Ивана Африкановича на хоругви, произведя его наскоро в хранители русского национального духа и народного нравственного богатства и предложив всему обществу бить ему поклоны...” Здесь раздражение критика достигло своего апогея при том, что он прекрасно понимал: “Талант В. Белова, его знание деревенского человека позволили ему изобразить крестьянский тип, давно уже не замечаемый нашей литературой, и к тому же представить его с такой художественной и жизненной полнотой, что мы встречаемся с ним, как с живым человеком”.

Увлечись борьбой с придуманными им “хоругвями”, Дедков словно “забыл” о критиках, для которых личность беловского героя была средоточием “социального младенчества, пассивности”, ибо “такие люди, как Африканович, только начинают осознавать независимые от них общественные связи”, ибо “пребывают в состоянии гражданского неведения”, поскольку в подобных героях “слишком очевидна... неразвитость... личного самосознания, непонимание собственной личности, как, впрочем, и любой другой личности...”

Где же истоки подобного раздражения и подобной забывчивости? Думается, ответ на этот вопрос есть.

Все знают, что впервые “Привычное дело” появилось в петрозаводском журнале “Север” в 1966 году. Менее известно, что до этого повесть была отвергнута “Новым миром”, а точнее, персонально его главным редактором. А когда, наконец, состоялся ее выход в свет и завязалась вокруг бурная полемика, тут-то и стало ясно, какой промах допустил Твардовский, тем более, что для любого вдумчивого читателя не подлежало сомнению: сотворено и обнародовано художественное произведение на несколько порядков по своему уровню выше всего, что напечатал “Новый мир” у Александра Солженицына, которого Александр Трифонович считал своим самым большим открытием. Тогда же на “Привычное дело” откликнулся новомировский публицист, слышавший большим знатоком деревни, Ефим Дорош, для которого Иван Африканович – “человек обыкновенный”, ибо “ничего особенного, выходящего из ряда с Иваном Африкановичем не случается...”, а смысл произведения в том, чтобы показать: “и крестьяне чувствовать умеют”. В ответ на подобные умозаключения Вадим Кожин в статье “Голос автора и голоса персонажей”, написанной в 1968-м, разъяснил, что если “с героем не случается...” “ничего особенного” и “необыкновенного” – отсюда не следует, “что герой обыкновенен. В подлинно художественном произведении всегда есть нечто “особенное”, “необыкновенное”. Есть оно им в повести Белова – в развитии “партии” героя, в сложных модуляциях его голоса... Иван Африканович ни в коей мере не “идеальный” или “идиллический” персонаж. Единственное его “превосходство” – в том особенном единстве бытия и сознания, в той цельности практической, мыслительной, эстетической и нравственной жизни, которое неизбежно утрачивается очень многими из тех, кто “учился” мыслить и чувст-

вовать... На протяжении всей повести художник мыслит о мире и человеке, о жизни и смерти, об истине и красоте, не отрываясь от реально воссозданного голоса своего героя — простого современного мужика Ивана Африкановича Дрынова... Мыслит “для того, чтобы раскрыть земную почву самых высоких и глубоких мыслей и чувств. Ту почву, которая породила их и постоянно возрождает во всей жизненной силе, в их органическом единстве с практически полезной деятельностью, в их всеобщей ценности и правде”.

Вот это взаимодействие голоса автора с голосом героя напрочь проигнорировал Дедков. Он стал мерить беловского персонажа по своему усмотрению, сделав вид, что никто, кроме Чалмаева да Глинкина, о нем не писал. Вы его в хранители национального духа зачислили? Так мы не одну червоточину в нем отыщем. Да еще поиронизируем: “Иван Африканович — поэт в душе. Признано, что “естественное состояние” его души — “поэзия природы, поэзия крестьянского труда”. Правда, писатель не щедро изобразил этот труд. Разве что привоз товаров в сельпо?..” Дальше — больше. Ивана Африкановича надо укорить судьбой его жены — Катерины: “Катерине некогда разогнуться, поглядеть вверх, звезды не для нее. Они вроде бы — для Ивана Африкановича”... Словно не обратил внимания на то, что беловский герой — кавалер ордена Славы, что “скрозь него шесть пуль прошло” — и его восприятие земной жизни несколько иное, чем хочется видеть. Словно бы не читал Кожинова, с которым Дедкову было бы неизмеримо труднее, чем с критиками, которым “куда легче с Иваном Африкановичем, чем с Катериной”.

“Иван Африканович встает рано вовсе не для того, чтобы насладиться красотой апрельского утра и задуматься о смысле жизни; он занят своими повседневными практическими делами, но ощущения красоты и жизненной истины органически сплетаются с обыденным существованием героя” (В. Кожинов).

Твардовский привлек Белова в “Новый мир”. Собственно, и Белов, и Шукшин появились на его страницах после шума вокруг “Привычного дела” (Лихоносов начал печататься раньше). И статья Дедкова в этом историческом контексте имела свою конкретную сверхзадачу: показать, что правильно понимание Белова возможно только в “Новом мире”. Об этом говорит и чрезмерная агрессивность ее тона.

В его дневнике этого времени встречаются крайне уничижительные и одновременно бессодержательные записи об авторах “Нашего современника”: “Вся эта декламация о патриотизме, корневой системе нации, родословной народа, о духовном подъеме народа в войну — никому, увы, не поможет и никуда нас не передвинет с места, на коем стоим...” Письмо Станиславу Лесневскому, приведенное в этом же дневнике, выдержанное в тоне столь нелюбимых им “молодогвардейских” критиков и, скорее, граничащее с издевательством то ли над кем-то, то ли над самим собой (“Следуя твоим указаниям, впитываю национальный дух, заряжаю аккумуляторы патриотизмом, припадаю и причащаюсь”), завершается инвективой: “Ты прав, и я прав, и мы оба правы, а паразиты — никогда! (И патриоты — никогда!)”

А когда многие авторы и члены редколлегии “Нового мира” стали авторами и членами редколлегии “Нашего современника” — среди них оказался и Игорь Дедков.

* * *

5 лет Дедков периодически печатался в “Нашем современнике” — с 1974-го по 1979 год включительно. Он писал о Юрие Куранове, о Гаврииле Троепольском, о Евгении Носове, о Виталие Семине, о первой книге Петра Краснова... Приезжал на заседания редколлегии, участвовал в общих разговорах. Насколько можно судить, держал себя вежливо и корректно. Среди всех прочих предлагаемых ему должностей в Москве и за границей (журнал “Радио и телевидение”, Академия общественных наук, журнал “Проблемы мира и социализма”, “Журналист”, “Московская правда”) упоминает и предложение Сергея Викулова прийти на должность заведующего критикой в “Нашем современнике” (“пресеклось где-то на уровне С. Михалкова или Ю. Бондарева, для которого я сижу на “двух стульях”, а может, пресеклось где и пониже”)... На скольких “стульях” “сидел” внутри себя Дедков (он, может быть, сам верил в то, что сидит на своем, одном-единственном), сказать непросто.

Во всяком случае, в “Нашем современнике”, куда его, можно сказать, никто не тянул на аркане и куда он пришел, как автор и член редколлегии, совершенно добровольно, он явно не благоволил к окружающим, о чем ясно говорят страницы его дневника.

“Всё-таки в “Нашем современнике” я чужой или получужой. Леня Фролов после заседания говорит мне: “Жаль, разговор скомкали. Ребята собираются (т.е. вокруг журнала) хорошие, умные”. А я в ответ что-то пробормотал ему насчет того, что странные все-таки эти заседания, и не знаешь, что и как говорить и насколько подробно. Вежливый я, однако, человек, и не могу огорчить человека, который доброжелателен ко мне и не раз это доказывал. А потом я шел по Новому Арбату и думал, что мало хорошего в тех ребятах, во всяком случае, в их речах...” Среди этих “ребят” числится и Евгений Носов, герой статей Дедкова. “Панков не преминул выступить и, надо отдать должное, говорил лучше других, хотя и неопределенно, когда обличал мнимо-художественную литературу, которая ущемляет подлинную литературу хотя бы тем, что потребляет много бумаги, которой не хватает. На это Е. Носов, выходя покурить, бросил реплику, что так было всегда, и переживать на этот счет не стоит, потому что, дескать, эта второсортная литература как навоз, и после нее настоящая литература еще лучше растет. В интонации, с которой были произнесены эти слова, что-то было чересчур уверенное в причислении себя к подлинной литературе, произрастающей на унавоженной почве...” Не знаю, как покажется почитателям критика Игоря Дедкова, но мне эти слова говорят о расчетливом лицемерии их автора. Статья о прозе Носова “Надежные берега” (“Наш современник” № 7, 1976) — одна из лучших в творческом наследии Дедкова. Но что же получается? На людях о Носове одно — “подлинная литература”! А про себя — совершенно иное, с ироничной подкладочкой: дескать, напрасно Вы, Евгений Иванович, себя “причисляете”... И никто “чужим”, по-хорошему говоря, Дедкова в “Нашем современнике” не делал. Позвали как “своего”, даром, что не могли не помнить “Страницы деревенской жизни”. Он сам себя, внутренним сигналом, превращал в “чужого”.

“Кожинову и Палиевскому нужен погоняла, но они надеются, что для них будет сделано исключение, и никто не будет их погонять, а наоборот — будут нежить...” Запись от 14 января 1978 года, еще в период активного сотрудничества Дедкова с журналом. Хорошо, допустим в отношении Кожинова, мнится, никаких заблуждений быть не может: Дедков всегда ощущал в нем серьезного и гораздо более сильного противника, а потому, как умный человек, никогда не пытался выйти с ним в открытую полемику, проговариваясь лишь обиняками (“Что-то слишком усердно убеждают нас, что писатель конъюнктурен и одни и те же факты перекрашиваются в угоду моменту” — это из статьи “Великий раскол или в поисках утраченного”. Только сверхдогадливый читатель мог бы понять, что речь идет о статье Кожинова “Проблема автора и путь писателя. На материале двух повестей Юрия Трифонова”, и едва ли кто-нибудь стал бы проверять, насколько дедковский тезис соответствует сути кожиновской статьи). Он давал себе волю на страницах дневника, примитивизируя и упрощая Кожинова до немыслимого предела. О статье Вадима Валериановича “Николай Рубцов в кругу московских поэтов” Дедков пишет, не сдерживая брызгливого раздражения: автор, дескать, “уже озаботился написанием истории, включив в нее своих друзей и себя, придав быту — значительность литературного события. Или он думает, что такую историю не перепишут?” Переписать попытались спустя много лет — но ничего из этого не вышло. “Еще один пример безответственной болтовни о нашем народе, о его избранности, о тех его качествах, которых, может быть, нет, а они навязаны нынешним государством”. Эта запись от 13 декабря 1981 года — “анализ” Дедковым статьи Кожинова “И назовет меня всяк сущий в ней язык...”, не замечая (судя по всему, действительно не замечая и не понимая!), что автор этой статьи рушил барьеры, возведенные более столетия тому назад между “славянофилами” и “западниками”. Замечательно само по себе и это смысловое совпадение (касательно “безответственности”) с мнениями “государственного человека” Феликса Кузнецова и члена редколлегии Владимира Чивилихина, высказанными во время экзекуции над первым заместителем главного редактора Юрием Селезневым неделей ранее на заседании Секретариата правления Союза писателей РСФСР. Реакция же Дедкова на самого Селезнева поистине не нуждается в комментариях: “Большие хитрецы в “Нашем современнике”, особенно,

должно быть, Юрий Селезнев, этот Садко-красавец, с курчавой бородой, обуреваемый антисемитской страстью"... Замечательно само по себе это **должно быть**, а значит, по мысли Дедкова это так и есть. Он подозревает хитрость во всем, везде и всюду умудряется подсмотреть двойное, а то и тройное дно. О статье Аполлона Кузьмина "Писатель и история" ("Наш современник" № 4, 1982) он пишет: "Гумилева подцепили – не жалко, и самого Кожинова – вот вам объективность – задели"... То есть опять-таки "схитрили". Здесь, впрочем, прочитывается "хитрый" подтекст самого Дедкова: статья Кузьмина в своем основном объеме посвящена полемике с книгой Валентина Оскоцкого "Роман и история. Традиция и новаторство советского исторического романа", того самого Оскоцкого, что многожды вполне благожелательно упоминается в дедковском дневнике. В письме Василию Быкову (май 1982 года) Игорь Александрович уже не сдерживает своих эмоций: "Наш современник" разжигает страсти. Судя по статье А. Кузьмина против Оскоцкого, на первый план в жизни нашего государства должно выйти национальное начало... Дурят людям головы, и кому-то это нравится. К счастью, подобные статьи читают очень мало людей, глубоко проникнуть они не могут. Я называю это "московскими страстями"... Плохо думал в данном случае Дедков о читателях русской провинции.

И словно невдомек Дедкову, что Селезнев, о котором все думали, что он угомонится после разгромного Секретариата, Селезнев, несогласный со многими положениями кожиновской статьи, на свой страх и риск продолжил начавшуюся дискуссию. На этот раз терпение лопнуло окончательно. Кстати, Юрий Павлов допускает фактическую ошибку, утверждая, что "Ю. Селезнев... к выходу четвертого номера за 1982 год, который ставится ему в вину И. Дедковым, никакого отношения не имел..." Имел, и самое прямое. Именно после выпуска этого номера он был уволен из редакции.

Что касается Палиевского, тут ситуация гораздо интереснее. Не Селезнев оказывается мнимым "большим хитрецом", а Дедков – большим хитрецом натуральным. О книге Палиевского "Пути реализма", об авторе, которому, если верить дедковскому дневнику, "нужен погоняла", а значит – это явно не "дедковский" герой – наш критик пишет и печатает в "Нашем современном" статью под замечательным названием "Мысль, набирающая высоту..." И мало кто сказал об этой книге в таких высоких выражениях, как Дедков. "... Искусность и талант. Слова эти не пусты для всей книги: и то, и другое явлено разом и в полном блеске. Стиль Палиевского заразителен. В нем есть нарастающая уверенная сила, есть непринужденность, есть чувство высокого полета и широкого обзора. В этом стиле органически слились гибкий, дальнзоркий ум и живые знания, но хорош он прежде всего обаянием фразы, ее состава и тона, ее лукавой и глубокой простоты... Даже иронический памфлет о самозванных "гениях" не выпадает из контекста книги, развивая и применяя эстетические и этические воззрения автора. При этом, как нам кажется, единство его коренных принципов здесь не косно. При достаточной устойчивости и устойчивости основной концепции сохраняется воля к движению, к изменению, а не только к ее прямому укреплению... Так по всей книге: растущая, здоровая, могучая, ветвящаяся от главного своего ствола жизнь, заявляющая о себе и себя в литературе, в искусстве, повсеместно противопоставлена всему искусственному, игровому, поглощенному собой, корыстью и тщеславию, но особенно – "сатанинской" гордыне абстракций, презревших "простую человечность", поверивших в свое окончательное всезнание и всемогущество... В этом смысле книга Палиевского – поощряющий и увлекающий пример. Она сильна сама по себе и не нуждается для своего лучшего утверждения в умалении других идей и тенденций. Порадумесь тому, что такая книга явилась".

Здесь же во вполне благожелательном контексте единственный, кажется, раз у Дедкова появляется и имя Кожинова: "В. Кожинов очень точно сказал об и д е я х как первейшем отличии и достоинстве книги Палиевского..." А как же насчет "погонял"? Они лишь для "внутреннего употребления".

На самом деле годы сотрудничества Игоря Дедкова с "Нашим современным" – чтобы он ни писал в своем дневнике – были лучшим его временем, как критика. Именно тогда его знание и глубокое ощущение русской провинции ("Я благодарен русской провинции за уроки стойкости и скромности, за мудрость и консерватизм ее жизни") обрело гармонию со средой журнала, где русская провинция воплощалась в полновесном слове прозы и публици-

стики, с внутренней атмосферой редакции, что дало импульс для создания таких статей, как “Возвращение к себе”, “Надежные берега”, “... В поле две воли...”, “Сруб для родника”... Этот импульс жил, вибрировал и в более поздних статьях критика, написанных уже после тихого разрыва с “Нашим современником”, статьях о прозе Владимира Личутина “Глубокая память Зимнего берега” (“Дружба народов” № 3, 1981), о прозе Валентина Распутина “Продленный свет” (“Новый мир” № 7, 1984), о прозе так называемых “сорокалетних” “Когда рассеялся лирический туман” (“Литературное обозрение” № 8, 1981). Именно названные статьи, “нашсовременниковские” по сути и тональности, — лучшее из всего, написанного Дедковым, — и составили ему репутацию критика “вне веяний, тенденций и “продаж”... вдали от суеты и пристрастий”, — о чем и написала в “Дневнике актрисы” Татьяна Доронина. И он имел все возможности удержаться на этой высоте, если бы... Если бы не постоянное растравливание в себе чувства “чужести”, не периодическое взбалтывание реальных и мнимых “идейных разногласий”, не периодические нагнетаемые подозрения в отношении окружающих — в “хитрости”, в якобы существующей в журнале “проверке на кровь”, “антисемитизме” и “жажде сильной руки”. “...Московские “славянофильские” (националистические) “зады”... о величии нашего прошлого, о преимуществах национального характера...” “...Дайте им волю: евреев изничтожат, за каких-нибудь татар да калмыков примутся — очистят Россию от инородцев...” “...Националисты и империалисты сходятся в одном пункте, славя державность и государственность”. Подобными штампами перенасыщены страницы его дневника.

“Ныне один из идеологов русских”, — пишет он о прекрасном поэте Викторе Кочеткове, как будто самого себя исключая из числа русских (разрядка должна была, видимо, свидетельствовать о дедковской иронии). Дошло в конце концов до того, что грязный политический донос П. Николаева (некогда научного руководителя дипломной работы Дедкова в МГУ) на статью Михаила Лобанова “Освобождение”, которую все светлые люди в литературном мире оценили, как бесстрашный и честный поступок, — критик выделил как “в основном и главным справедливую”.

Горестное недоумение оставляет, запись от 11 июля 1980 года о 70-летию А.Т.Твардовского. “Сколько было врагов, как ловко травили, теперь все — в друзьях и тянут руки, и хотят прибрать к рукам: как же, как же, великий, народный, наша гордость. И расчет на одно: на беспамятность, на то, что новые поколения не знают, не могут помнить и верят их сегодняшним словам...” Контекст не оставляет сомнений: речь идет именно о “Нашем современнике”, точнее, о его главном редакторе С. В. Викулове, одном из “подписантов” приснопамятного письма “Против чего выступает “Новый мир”?” (“Огонек № 30, 1969). Нет смысла напоминать лишний раз — ни слова персонально о Твардовском в этом письме не было и не могло быть (Дедков, упрекающий других в “беспамятности”, сам, похоже запаматовал многое). Только интересно все же: может быть, критик имел в виду еще и заместителя Твардовского по “Новому миру” Алексея Ивановича Кондратовича? Именно Кондратович писал в “ненавистном” для “новомировцев” “Нашем современнике” самые проникновенные свои статьи о Твардовском: “Самый обычный день. Страницы жизни Александра Твардовского” (№ 9, 1973), “Поэт и стих” (№ 12, 1974), “Ровесник любому поколению” (№ 6, 1980). Последняя статья была опубликована именно к 70-летию юбилею поэта. Это и есть “расчет на беспамятность”?

Еще раз повторю: ни Кондратовича, ни Дедкова, ни кого еще из бывших авторов “Нового мира” (включая Ю.Черниченко и А.Туркова) никто в “Наш современник” на аркане не тянул. Они пришли туда сами, понимая умом и чувствуя душой, что именно этот журнал теперь объединяет лучшие литературные силы России¹.

¹ См. статью В.В.Кожина “Самая большая опасность...” (“Наш современник” № 1, 1989). С подобного рода беспамятностью пришлось столкнуться совсем недавно, читая интервью Владимира Бушина “Читателей у меня немало...” (“Литературная газета” № 5, 2014): “Писатель получает премию имени Горького. Вскоре он становится главным редактором журнала, на обложке которого профиль как раз Горького... Казалось бы, горьковский лауреат должен бережно относиться к памяти великого собрата, а он первым делом, придя в журнал, смахнул к чертям с обложки профиль. Я с негодованием написал об этом. Вот и приобрел себе самым честным образом врага в лице уж такого крутого патриота, что он целый год Солженицына печатал,

Наталья Куликова отдельно отмечает “антибондаревскую” статью И. Дедкова “Перед зеркалом, или страдания немолодого героя”, напечатанную в “Вопросах литературы” (№ 7, 1986). Любопытно, что полемическую статью о Бондареве заказывали критику еще в его бытность автором “Нашего современника” именно для этого журнала. Как пишет Дедков в дневнике: “Кстати, Фролов опять – не в третий ли раз? – призывал меня, т. е. советовал написать что-нибудь о Бондареве. Я говорю: чтобы выразить свою преданность? Он пожимает плечами: чтобы он на себе почувствовал. Я говорю: почувствовал, что я все правильно понимаю? – Да, – говорит Фролов. – Что ж, – говорю я, – вот освобожусь, тогда и напишу. А сам на другой день подумал: можно ведь написать, но так, как есть, как на духу, о всем развитии Бондарева, просто так написать – ни для кого, ни для какого журнала, а там будет видно – может, кто и решится напечатать...”

Он так и не написал “как есть, на духу, о всем развитии Бондарева”. Статья была посвящена лишь роману “Игра”. И здесь ощутимо еще одно “двойное дно”. Волей-неволей возникают вопросы: почему так долго ждал и почему выбрал в конце концов один-единственный роман.

Читаю в этой статье разного рода инвективы, припечатывающие героя романа и одновременно его автора. “Нам же ясно сказано и продемонстрировано всей структурой запечатленного мира, что Крымов – один из немногих носителей русской духовной силы... Наверное, следовало бы счесть избранные страсти неглубокими, а то и всецело игровыми, но не получается: слишком захвачен ими Крымов, слишком дрожат голоса! Не фильмы спорят и соперничают, не роли, не книги, а слова – кто громче, кто пронзительнее! – будто кровь на чистоту исследуют, вот-вот рассортируют: те – направо, те – налево”... Ух! Первая ласточка! Потом этот штамп станет общим для всех либералов... “В духе Крымова: расширять свое, частное, а то и личное до всеобщего, всенародного, общемирового. Больше драматизма. И больше – неправды!” “Нам предлагают поверить, что известный, чтимый кинорежиссер, один из лучших, если не лучший в стране... не припоминающий, кстати, никаких осложнений в своей кинематографической карьере, вдруг, в одночасье, теряет свое безупречное доброе имя, общественный и творческий авторитет, всякую поддержку и понимание...” Убеждались в этом потом не раз. Насмотрелись. Думаю, для всех очевидно, что прав здесь оказался Бондарев, а не Дедков. “Художественный разум автора не стал высшим и объективным по отношению к герою и его миру, и это в романе разнообразно запечатлено: уровни автора и героя как бы совпали...” Читаю это и вспоминаю слова из дедковской статьи “Возвращение к себе”: “Понять природу литературного произведения, его смысл и предназначение? Понять, что сказалось в нем, обретая речь? Зачем? Важнее объявить писателю о его грехах...” В данном случае Дедков мог бы предьявить этот упрек не Ольге Кучкиной, как в 1975 году, а себе самому. Вся жизнь воевавший против упрощения жизни в литературе, он сам пошел на поводу крайних упрощений.

Куликова перечисляет несколько имен “супротивников” Дедкова на этом ристалище: С. Михалков, Н. Федь, Ю. Сохряков, странным образом забывая

да еще, будучи членом партии, обнародовал у себя призыв – вместо антифашистского комитета создать в помощь Ельцину комитет антикоммунистический... И я снова называю его мерзавцем... Тот патриот-лауреат ненавидит Горького и не думает восстанавливать его портрет на обложке журнала...” Опустим все объяснения на тему, что Горький не имел никакого отношения к “Нашему современнику” (речь ведь идет именно об этом журнале и его главном редакторе Станиславе Куняеве!), и другие передергивания критика. Остановимся на самом существенном: казалось бы, после такого “оскорбления”, как “смахивание” профиля Горького, публикация “Октября шестнадцатого” Солженицына, введения в оборот понятий “враг” и “мерзавец” критик должен был раз и навсегда забыть о существовании подобного издания. Интересно, кто и в каких наручниках приводил его в редакцию журнала (уже без “горьковского профиля”) и заставлял на протяжении нескольких лет печатать статью за статьей: “Эренбург мне рассказывал...” (№ 11–12, 1994), “Давид Иосифович об Иосифе Виссарионовиче и других” (№ 5, 1995), “Зачем не послушал он брата Марка!...” (№ 7, 1996), “Я большего у Бога не просил...” (№ 10, 1999), “Вот чем они кормят тебя, русский” (№ 2, 2000), “Тайны Эдуарда Радзинского” (№ 5, 2001) и даже стихи (№ 5, 2010).

о Юрие Идашкине (две статьи – Дедкова и Идашкина – составили “два мнения” о романе). Но более симптоматично отсутствие еще одного имени среди авторов “поднявшейся высокой критической волны”. Я имею в виду статью Анатолия Ланщикова “Вечно живая исповедь” (“Москва” № 12, 1986). Достаточно было вспомнить о ней, и уж никак нельзя было бы ни обойти, ни объехать серьезные умозаключения критика, резко поднимающие уровень разговора: “Не успели мы еще как следует познакомиться с Крымовым, как он уже оказался перед зеркалом, но вот примеров тому, что “зеркальные отражения” сопровождают главного героя “повсюду”, критик не привел, да и не мог привести по причине их отсутствия. Под излишней зоркостью я как раз и подразумеваю ненужную способность продлевать зоркость воображением. Трудно также понять, из чего И. Дедков сделал вывод, что Крымов “нравится себе в зеркальном отражении”... Сам по себе Крымов может показаться и случайно серьезно, но в “контексте” героев романов “Берег” и “Выбор” он уже выглядит серьезным явлением, весьма характерным для минувших двух десятилетий. Романы выходили с завидной регулярностью (1975 год, 1980 год, 1985 год) и каждому из них Ю. Бондарев отдал примерно по пять лет жизни, стало быть, основные проблемы, разрабатываемые в трилогии, стали одолевать его в конце шестидесятих годов” (не для того ли, чтобы избежать разговора об этих “основных проблемах”, Дедков и не стал писать статью “о всем развитии Бондарева?”)... “Способность видеть себя со стороны” или “рассматривать себя как третье лицо” – это вовсе не означает, как полагает И. Дедков, “иметь особый вкус к саморазглядыванию”, но означает – всю жизнь нести тяжелое и неотвратимое бремя видеть свой нестирающийся, куда бы ты ни отошел, духовный мир в самые разные периоды своей жизни...” “Ю. Бондарев писал не собственный автопортрет, он через своих героев выразил суть своих нравственных исканий, и в “Игре” мы видим при всей внешней схожести на два предыдущих романа, принципиальную смену идеала...” “Мы постоянно помогаем какому-то идеальному литературному герою, которому можно было бы подражать, а то и делать собственную жизнь с него, мне представляется это требование одной из форм духовного иждивенчества, в лучшем случае, если это требование искреннее...” “Лживые слова о правде никогда не станут правдой, хотя они и могут нанести ей очень серьезный ущерб...”

А теперь о том, “почему столь долго выжидал Игорь Дедков при всем его аналитическом таланте”. В начале своей статьи Ланщиков задал этот вопрос – в конце и дал на него ответ: “Поскольку И. Дедков ратовал за “историческую конкретность”, пойдём ему навстречу еще раз и сделаем маленькое уточнение. Его оппонент Ю. Идашкин напомнил, что статья К. Скопиной и С. Гуськова “Найти героя: размышления о новом романе Ю. Бондарева “Игра” была опубликована в “Комсомольской правде” 22 июня 1985 года... В то же время проходил и пленум правления Союза писателей СССР, а статья К. Скопиной и С. Гуськова появилась на страницах “Комсомольской правды” буквально накануне его открытия. Проходили месяцы, “проработочную” статью вроде бы замаяли, и в этой “зоне” как бы появилась своего рода табличка: “Проверено. Мин нет!” И вот И. Дедков потихонечку, не торопясь, готовит по той же модели статью “Перед зеркалом, или страдания немолодого героя”, и готовит ее вдали от “столичных высот” не просто так, а к съезду писателей СССР, который намечено было провести в июне месяце, то есть после XXVII съезда КПСС. Да, ничего не скажешь, И. Дедков действительно критик очень “вдумчивый”... Не знаю, дошли ли молитвы И. Дедкова до бога, то ли они дошли до более “влиятельных” лиц, но “выбились” и в “избранные” и “установленный ценз” легко прошли – теперь Игорь Дедков вошел в тот запретный полу-процент избранных (стал секретарем Союза писателей СССР), который и руководит нашей писательской организацией...”

Казалось бы – зачем теперь вспоминать о таких мелочах (хотя для того времени это были совсем не “мелочи”!)? Я вспомнил об этом, прочтя в статье Наталии Куликовой о “справедливых претензиях” И. Дедкова в адрес романа “Игра”. Можно было выказать не одну обоснованную претензию к этому роману, но не в дедковском случае. В своем случае критик разворачивал расчетливую операцию под названием “Огонь по штабам!” И тут уже с совсем другим чувством вспоминаешь слова “вне тенденций... и “продаж”.

Дедков достиг своего “штаба”. Несостоявшееся назначение заместителем главного редактора “Нового мира” “искупилось” другим назначением. 20 ию-

ля 1987 года он переезжает в Москву и приходит работать политическим обозревателем в “Коммунист” — “штаб” по всем параметрам повыше “Нового мира”. И не стоит ни говорить, ни думать, что статья “Перед зеркалом” не сыграла здесь никакой роли.

Дедков-критик времен “перестройки”, после его назначения в “Коммунист”, уже мало чем напоминал прежнего, “нашсовременниковского” Дедкова. Точнее, не напоминал вообще. “Перестроечная” конъюнктура его буквально сжирала. В статье “Литература и новое мышление” (одной из первых после нового назначения критика) он писал о “деревенской прозе”, недавно воспевавшейся им в подробных и умных статьях, уже совершенно в другом стиле и тоне: “В героях литературы все чаще стал оказываться человек, претерпевающий судьбу, терпеливо сносящий ее превратности, социально покладистый, социально несамостоятельный. Кому-то это даже нравилось: вековая народная мудрость, российская заветная потребность в твердой самовластной руке... Сказывалась нарастающая растерянность перед реальной действительностью, перед ее умножающимися противоречиями, долгая привычка к компромиссу и “всепониманию”, чреватая обычным приспособленчеством...” Весь либеральный “джентльменский набор” тех лет был здесь налицо. Как и стандартная абстракция, кочевавшая из статьи в статью у разных авторов, ставших как будто не отличимыми друг от друга: “Теперь эти произведения (из “задержанной” литературы. — С.К.) как и многие другие из “задержанного”, доселе “опасного” и “вредного”, увидели свет. И что же? Поползла под ногами почва? Зашатались стены? Ничего подобного...” То, что почва поползла, и стены уже готовы обрушиться — и вовсе не из-за публикаций “задержанной” литературы! — этого не желал ни видеть и чувствовать ни Дедков, ни другие его тогдашние единомышленники. “Перевес публицистической мысли над художественной, обнаруженный критикой в некоторых популярных произведениях 1985—1986 годов, оказался не авторским просчетом, не приметой нового литературного этапа, а скорее признаком какого-то смятения перед реальностью”... Читатели той эпохи знают: речь шла о не названных произведениях Виктора Астафьева (“Печальный детектив”), Валентина Распутина (“Пожар”) и названном “Все впереди” Белова, у которого, по мысли критика, “верность жизни, свойственная всякому большому таланту, оказалась в подчинении у сомнительной тенденции, словно ее права и темная сила выше прав и светлой силы художника”... От тревожных сигналов некогда любимых писателей Дедков замкнул свой слух — равнодушно и спокойно.

Дедков, исповедовавший “историзм”, начал настаивать на сугубой актуальности статьи Ленина “О национальной гордости великороссов”, будто не зная, что сам Ленин фактически дезавуировал эту свою статью после Октябрьской революции. Наконец, критику попросту изменил художественный вкус. В статье “Хождение за правдой, или взыскующие нового града” (“Знамя” № 2, 1988) он стал раздавать высочайшие оценки “Капитану Дикштейну” Кураева, “Смирненному кладбищу” Каледина, “Кроликам и удавам” Искандера, вещам, уровень которых и не приближался к уровню некогда ценимых им писателей. “Белым одеждам” Дудинцева он готов был даже “простить мелодраматические повторы сюжета” (никакого “мелодраматизма” он раньше никому не прощал). Примитивизм мысли в его интервью этого времени просто ошеломлял: “Нагорная проповедь не предотвратила ни Первой, ни Второй мировой, никаких других войн”. “Новое мышление” для него заключалось в “безальтернативности” (т.е. в столь нелюбимом им раньше упрощении всего и вся). А на вопрос о наличии русофобии ответил буквально следующее:

“Я не знаю, что такое “руссофобия”. Прожив основную часть жизни в русской провинции, я с “руссофобией” не сталкивался и “руссофобских” сочинений не читал. Да и само это слово введено в журналистский оборот совсем недавно хорошо организованными усилиями ряда изданий”.

Намек понятен: опять этот ставший ненавистным “Наш современник”, опубликовавший “Руссофобию” Игоря Шафаревича... Дедков или действительно не читал, или (что еще хуже!) сделал в данный момент вид, что не читал Ф. И. Тютчева:

“Можно было бы дать анализ современного явления, приобретающего все более патологический характер. Это *руссофобия* некоторых русских людей — кстати весьма почитаемых. Раньше они говорили нам... что в России им ненавистно бесправие, отсутствие свободы печати и т. д. и т. п., что потому

именно они так нежно любят Европу, что она бесспорно обладает всем тем, чего нет в России... А что мы видим ныне? По мере того, как Россия, добиваясь большей свободы, все более самоутверждается, нелюбовь к ней этих господ только усиливается. В самом деле, прежние установления никогда не вызывали у них столь страстную ненависть, какой они ненавидят современные направления общественной мысли в России. И напротив, мы видим, что никакие нарушения в области правосудия, нравственности и даже цивилизации, которые допускаются в Европе, нисколько не уменьшили их пристрастия к ней... Словом, в явлении, которое я имею в виду, о принципах как таковых, не может быть и речи”.

В статье “Власть, культура, народ. О духовной жизни в 30-е годы” (“Свободная мысль” – бывший “Коммунист” – № 2, 1992) Дедков писал о 30-х годах то, что неизмеримо более подходило ко времени публикации его сочинения: “...В атмосфере неуверенности, повышенной тревоги, страхов, избыточных ожиданий образуются и распространяются, как зараза, однотипные массовые настроения и воззрения, не вполне контролируемые рассудком. Возникает зараза ненависти, зараза подозрительности или – покорного доверия, восторженного подчинения”. Я не думаю, что все это время он находился в гармонии с самим собой. Либеральный психоз, разлившийся по стране, сокрушение всех основополагающих традиционных констант – все это вместе взятое не могло не порождать противоречий на разрыв в душе человека, которому было “страшно” при мысли “о том, что стало бы с нашей литературой, если б она отказалась от своих традиционных совмещений”, при виде уничтожения “бесценной конкретности жизни”. Когда в стране победило воинствующее “демократическое” отребье, он пришел в ужас от мысли: “В подготовке чего я все-таки косвенно соучаствовал, сидя за большим овальным столом нашей редакции”? И лишь словом “косвенно” выдал себе косвенную индульгенцию.

Он вспоминал старую русскую советскую провинцию – то, что давало ему силы для жизни и письма. “Смена мод трогала нас мало. Я не помню, какие рубашки, пиджаки, платья, какую обувь носили мои друзья, я вообще не помню их вещей. Я помню и храню их голоса, выражение глаз, песни, которые пели за столом – никогда на кухне, никогда не сидели на кухнях. Я помню книги, которые брали в областной библиотеке и потом о них говорили: Ремизова, Ходасевича, Бердяева, Булгакова, Эрнэ, Розанова, “Вехи”, “Несвоевременные мысли” Горького... Неправда, что это и многое другое было абсолютно недоступно (к тому же удача зависела от богатства и сохраненности дореволюционного фонда). Я не помню только вещей и разговоров о деньгах, потому что ни то, ни другое не было захватывающей самоцелью. Я не могу себе представить, чтобы что-то подобное нынешнему торжествующему экономическому измерению жизни подчинило нас себе... Теперь... предпочтение отдается политике, особенно столичной. Провинция интересна, когда в ней бастуют, митингуют, кого-нибудь убивают, и ссорится меж собой начальство. Еще волнует порок с его разновидностями. Остальная жизнь – та, что в глубине России, – неинтересна и, главное, неизвестна. Как была неинтересна и неизвестна вчера – в додемократическую эпоху. Но тогда действительность пробивалась через литературу, через ту же “деревенскую прозу”. Теперь и литература в растерянности, и свобода не плодоносит, и журналистика сутелливо топчется в политических передних...” (“Журналист” № 1, 1992).

Он разрывает отношения со своими недавними единомышленниками, не скрывает своего омерзения от происходящего. Не он один был человеком подобной участи. Таков же был финал жизни Владимира Корнилова, Вячеслава Кондратьева (застрелившегося после обнаружения знаменитого ельцинского “Указа № 1400” о прекращении деятельности Верховного Совета народных депутатов России), Владимира Лакшина... Последняя статья Дедкова “Объявление войны и назначение казни” (“Дружба народов” № 10, 1993) – о романа Виктора Астафьева “Прокляты и убиты”, который он категорически не принял, назвав “физиологическим очерком красноармейской казармы”, а самого писателя – “подзадержавшимся в пути свидетелем обвинения”. “Победители тоталитаризма, – писал он и явно не только об Астафьеве, – имя им легион, откуда и взялись? – обожают мрачные истории: чем беспросветнее, тем лучше, чем зловоннее и чернее чертова яма прошлого, тем белее их свежестираные одежды и ослепительнее деяния”. Так же хлопнул дверью Влади-

мир Лакшин, опубликовав статью “Россия и русские на своих похоронах”. Но в отличие от Лакшина Дедков не успел испытать на себе остракизм “демократического передового сообщества”. Вскоре его не стало.

P.S. Владимир Бондаренко завершил свой моментальный портрет Дедкова следующими фразами: “К концу жизни Игорь Дедков стал склоняться более к правому, русскому почвенническому берегу, об этом говорят и его последние статьи, и его дневники. Думаю, пришел бы к нам в “День”.

Не следует строить иллюзий, особенно задним числом. Дедков никогда не переступил бы порога “Дня”, как не переступил его и Лакшин, которого Бондаренко также приглашал печататься в легендарной газете. Вообще предположения – как в новой истории повел бы себя тот или иной, ушедший из этого мира герой дней минувших – всегда туманны и неопределенны, и иными быть не могут. Но волей-неволей жизнь сама заставляет делать их.

Когда сейчас, в дни всенародного торжества, которого не было в России с 1945 года, я наблюдаю на телеэкране радостные лица персонажей, которые 20–25 лет назад не жалели глоток, предавая анафеме “имперские амбиции” “красно-коричневых” и “шовинистов”, когда я слышу патриотические речи и проклятия “пятой колонне” тех, кто в свое время объявлял патриотизм “последним прибежищем негодяев”, искажая сам смысл этой фразы, а слово “русский” еле-еле выговаривали через губу с непередаваемым отвращением на лицах, я снова и снова думаю, что история все ставит на свои места, что время поистине рассудило всех. Но опять и опять задаю самому себе все тот же, может быть, и бессмысленный вопрос: что бы говорили и писали сегодня многие из тех, кто некогда позиционировал себя, как наши непримиримые противники, кто пытался разъять – пусть даже в своем сознании – отечественную историю, позабыв о ее органичной живой целостности?